

АЛЕКСАНДР БАЛТИН

СЛОВЕСНОЕ СИЯНИЕ СОВЕТСКОГО ДЕРЕВЕНСКОГО КОСМОСА

Мощный кряж деревенской прозы

Учитывая чрезвычайное (хотя и естественное) значение деревни в дебрях русской жизни, странно, что деревенская проза как направление оформилась только к середине 60-х годов двадцатого столетия.

Прорастая сквозь толщи литературного массива травинками очерков Валентина Овечкина, точными и острыми рассказами и зарисовками Александра Яшина, очерками Ефима Дороша, именно к сердцевине шестидесятых деревенская проза набирает ту меру художественной силы, что позволяет ей сложиться в своеобразный литературный пласт.

Колхозный опыт осмыслился критически, и страсти, бушующие внутри центральных произведений этого направления, не уступают огненным лабиринтам Достоевского.

Совесьть – альфа книг Фёдора Абрамова. Определяющий пафос “Братьев и сестёр” есть единение народной силы перед пламенеющим ликом беды. Церковь используется, как клуб; но накал стихийного горения, в результате которого председатель снят с поста, не уступает молитвословию прежних веков.

“Привычное дело” суммирует столько присущего русской деревне, что и больно и радостно становится: радостно – от блеска и плеска живой жизни, горько – от того, что так всё спутано в ней, не развяжешь, и попытки хорошее отъединить от дурного могут кончиться запоем...

Особняком стоят рассказы Юрия Казакова – с живописно прописанными образами простецких мужичков, скуласто и крепкоруко укоренённых в жизни, надоедающей им – как, например, в рассказе “В город”, где плотник деревенский даже сны видит только о городе, мечтая уехать туда, к дочери.

Несколько в стороне мощно и одиноко возвышаются “Любавины” Шукшина – деревенский эпос, где корни жизни выдираются творящейся новью...

И – точно от голоса природы самой – словно и не написанные, а чудом природной силы проявленные, возникают повести Распутина, в которых мало праздничного, но то, что были они и есть – уже праздник литературы...

Как далеко в небесных водах, в таинственных недрах неизвестного, мистического Китежа плеснувшая хвостом Царь-рыба становится классическим романом Астафьева...

Деревня тишает – когда не сходит на нет.

Иные формы работы на земле: поди, расскажи нынешним тридцатилетним, что такое колхозы. И возвышается кряж советской деревенской прозы не только эстетическим, но и историческим уже феноменом.

Млечная метафизика Василия Белова

Ложатся фразы в пазы друг другу, как тщательно обработанные плотником доски; ложатся без зазора, не вставить металлический предмет критики между ними.

Острый предмет.

Лодка плывёт – и человек, глядя в воду, видит, как гуляют по водным тропам горбатые окуни: большие, твёрдые, прохладные.

Свежесть сна – и городские дебри, что откроются чуть позже в “Воспитании по доктору Споку” Белова: писателя столь от земли русской, сколь сама она – от древности славной силы.

...девчонка в летнем платье, стоящая на большелобом камне, зовущая сновидца; летняя отрада и успокоение, и – городская комната с привычным бардачком.

Плавно разматываются круги повествования – как будет оно ткаться на ярляке старинной в этнографических очерках Василия Белова, всю жизнь собиравшего бывальщины, песни, пословицы, предметы материального быта; словно и не поэтизирующего Север, но показывающего его таким, что любая поэтизация была бы избытком.

Закаты и восходы, как духовные веера простоты и смысла, простёртые над нами; деревенский, деревянный лад, как нечто, извлечённое из недр затонувшего Китежа.

Советский Китеж затонул окончательно, оставив по себе много замечательных свидетельств.

...песня, одиноко звучащая над водой.

И снова, как в словесном, чудесном фильме, мелькают кадры “Привычного дела”: Иван Африканыч Дрынов, напившийся с трактористом Мишкой, едет на дровнях, да по пьяной лавочке не туда – беседуя с меринком Пармёном, не в ту деревню заворачивает, значит, в свою попадёт только к утру.

Привычное дело.

Жена родит девятого, а после родов тяжёлых – сразу на работу, пока не хватит удар от жизни на износ... И вспоминает Африканыч гармонь – не успел научиться на басах играть, как отобрали за недоимки.

Страшно. Привычно. И родное всё – не выбросить из бесконечной метафизики жизни, не зачеркнуть. Только и остаётся – упиваться волшебным, млечком жизни текущим языком да вспоминать чудные, цветочные красоты северной земли...

Александр Яшин как прозаик

В поэте зреет прозаическое зерно чаще, чем в прозаике поэтическое, и то, что Александр Яшин обратился к прозе, будучи уже признанным поэтом, свидетельствует и о мере его таланта, и об интенсивности внутренней работы.

Критика встретила его прозу по-разному: на разносы наслаивались утверждения, что прозой он заслонил себя как поэта; истина, как ей и полагается, находилась между полюсами.

Критике подвергся уже первый опыт Яшина в прозе “Рычаги”: мол, картина, данная в рассказе, слишком мрачна: не соответствует яви. Парадокс, однако, в том, что явь сама порою не соответствует образу, который должен бы её представлять; и сгущённая прозаическая мрачность Яшина логично вытекала из досконального его знания жизни – именно такой.

Правда поэта, перешедшего в прозу, была слишком наждачной – с одной стороны, а с другой – настолько хлебной, что невозможно было усомниться в подлинности предложенного.

Повесть “Сирота”.

Цикл маленьких рассказов – “Первый гонорар”, “Старый валенок”...

Акварельного развода зарисовки, составившие цикл “Сладкий остров”.

Александр Яшин раскрывался новой радугой: и дополнявшей его суровую, нежную, такую разную поэзию, и точно представляющей другого писателя.

Деревня – его боль и счастье, его родина и тоска – глинисто отдавала пейзажи свои бумаге, и люди, проходившие по тропам рассказов, были слишком

всамделишными для сомнений в их правоте. В их счастье-несчастье, круто смешанном в лаборатории Яшина.

Он был прозаиком соли: самой сущности дней; и крестьяне, хающие до начала собрания колхозные порядки, а потом говорящие то, что нужно, во время оно, настолько очевидны, что мысли о сознательном очернительстве кажутся кощунственными.

Поэтическое дело Александра Яшина концентрацией силы давало кристалл, сверкающий небесными гранями. Но и проза его, взятая от земли, через боль и муку поднималась вверх, суля грядущее.

Очерки Валентина Овечкина

Районные будни могут быть обнажёнными, как чертёж, страшными, как разверстая рана, а порою – вполне банальными...

Цикл из пяти очерков Овечкина сух и деловит, реалии экономической и социальной жизни тогдашних людей из глубинки становятся фактом эстетического переживания, преобразуясь в частички большой литературы.

Характер заострён – жить будет трудно.

Язык сух, как стрептоцид, однако именно таков, какой требуется для поставленной задачи: превратить районные будни в явление эстетического порядка.

Факт жизни становится фактом литературы, пусть персонажи вымышлены, но вопреки газетному “очеркизму” живы, как персонажи удачных рассказов или повестей.

Очерки или рассказы?

Очерки уровня высоких рассказов...

И деревенская проза Овечкина имела значение, но именно этот цикл закрыт такою правдой, что не утратил колоритной силы и поныне.

Векторы Виктора Астафьева

Война и деревня – два полюса, определяющие махины романов и повестей Астафьева – тёртых в лапах бед и событий, достойных античного трагизма – впрочем, превосходящих его, ибо размах двадцатого века и не приснился бы розово-мраморным ветхим временам...

Деревня Астафьева – оплот жизни, корневое, земляное: гушь российская.

Война – огонь подвига безымянной плазмы людской, разлетающейся брызгами смертей; и образ воина, обезличенного ваныки-взводного, что выдержит всё, – встаёт, как из былин.

Царь-рыба плывёт, доплеснув хвостом до звёзд небесных, а брюхом касаясь волшебного Китежа, который никак не всплывёт.

“Перевал” столь же вынут из жизни, как любой из пейзажей, данных крутою солью слов.

“Прокляты и убиты” – слова, зафиксированные на одной из старообрядческих стихир, – как письмена хроник, уходящих в века.

Громоздятся тома, пропущенные через жернова боли и просеянные через сито надежд, громоздятся целостностью своею, укрепляя действительность, всё более охочую до развлечений и всё менее заинтересованную в серьёзном чтении.

Шаровая мощь Василия Шукшина

Многих современных актёров следовало бы именовать не “народными”, а “простонародными”, как ряд писателей, некогда превозносимых – “псевдо-народными”; тем не менее существует подлинная, сколько бы ныне ни подвергался осмеянию этот термин, народность – прорастающая из самых глубин, из гуши и дебрей страны и витальных её возможностей, и Василий Шукшин лучшее тому доказательство.

Все ипостаси его деятельности отмечены сим высоким знаком: и каждой было бы достаточно для величия, для того, чтобы остаться в истории культуры столько, сколько она будет продолжаться; но писательская высота Шукшина – особая: она от подлинного золота речи.

Как естественно фраза любого рассказа ложится в другую! Как просто и ясно выходят из недр жизни замечательные персонажи: хитрованы и простачки, скрипящие деды и грезящие о космосе будущего мальчишки, праздные болтуны... и огромный, могучий телом поп, которого пырни ножиком – по желанию пьяного глуповатого мужичка, – так поболит немного и зарастёт.

И юмор Шукшина – из деревень, от жизни, простой и необходимой, с её повседневным хлебом и подвигом ращения детей... Как срезал Глеб Капустин зарвавшегося московского интеллигента! и ничего, что философию перепутал с филологией, так даже забавней...

Простота, известно, хуже чего бывает, но у Шукшина – яркая ясность: будто воздух сгущается в волшебные рассказы, открывая новые и новые ипостаси жизни народной – той, каковою была в годы, отмеренные мастеру.

И – рассказ к рассказу – будто строится терем прозы, нет! Китеж всплывает из вод нынешнего дурновкусия и глупости, связей и торгашества премиями: Китеж, сияющий красками ума, юмора, доброты – а всё это проза Шукшина предлагает в избытке.

Но не только в рассказах великолепны мускулы мастерства Василия Макаровича: и “Любавины”, густо замешанная история рода, возвышаются над обилием разной мелкотравчатой и толсто-томной прозы; что за герои! какая великолепная гроздь характеров!

И Стенька башует – оставшийся в веках, не прекратил ни бунта своего, ни разгула – проигравший победитель, пытаемый в конце так страшно, но смехом над палачами глумящийся, не дающий им насладиться стонами своими.

Василий Шукшин рядом с нами: вот они тома его, на многих полках; Василий Шукшин удивляется нам – как могли прийти до такой агрессивности, эгоизма, алчности; как могли прийти до не-чтения книг, или чтения макулатуры, как могли стать такими?!

Изменитесь! – призывают тома великолепного Шукшина.

Ноша и чаша Валентина Распутина

Ноша Валентина Распутина была тяжела, ибо писать вровень с классиками девятнадцатого века практически невозможно (хотя Распутину это удалось), а чаша его, подъятая к небесам, была полна как солнечной субстанции ей жизни, так и горьким полярным отваром.

Уже “Деньги для Марии” обещали писателя необычайного, редкого: и по словесному, густому и крепкому письму, и по проникновению в сердца людские, занавешенные от большинства плотью поступков. Собственно “Деньги для Марии” сама по себе замечательная повесть, ибо мощно показывает, как трагедийный излом выявляет лучшее и худшее в человеческой породе, – мощно и оригинально; но в сравнении с главной, вероятно, книгой “Живи и помни” – это ещё репетиция высоты.

“Живи и помни” даёт жизнь так плотно и веско, столь из глубин высвечивая сущность её, что полноценно встаёт в ряд с классическими произведениями лучших из лучших...

Несущая в себе новую жизнь: ребёнка, о котором мечтала, который не получался, Настёна тонет – топится, чтобы предупредить об опасности мужа, изъеденного собственным дезертирством и страхом войны... Это – как речь на могиле Илюшеньки из “Братьев Карамазовых” – та же мощь, та же сила...

Только... есть ли выход к свету через пути страданий, которыми изломисто идут герои Распутина?

Есть ли он?

Ибо отсутствие такового не может сделать книгу значительной, ибо литература существенна лишь в той мере, в какой даёт почувствовать парение души, возможность прикоснуться к облакам. А сама повесть – с её живым, хлебным языком, с нежной, такой простой Настёной, с Андреем, ощутившим, что такое жизнь в тупике, есть световое вещество жизни: ибо, как бы ни была тяжела она, это всё равно жизнь...

Далее накатит волны “Прощание с Матёрой”, где образы старух, пьющих чай так, будто вот-вот к ним в гости заглянет смерть, врезаются в память алмазными гранями силы и мастерства. Матёра – книга о разрушении и стойкости: могучий “царский листвень” (чуть ли не тень Мирового древа), несущий

новое, но несущий сие через разрушение, не могущий не сокрушить, как сокрушит он деревню, разорит кладбище. . .

Великолепные “Уроки французского”, в сущности, обжигающий стигмат сострадания, вырезаемый на сердце читателя; тут линии Достоевского и Некрасова причудливо переплетаются, точно вращаясь в современный материал скудости и бедности.

А как роскошно-живописен очерк о Байкале! вода его блестит, и берега чуть не прогибаются от обилия ягодных кустов; и дремотное в этот час бело-прозрачное море Байкала готово поделиться силой своей с читающим строки Распутина.

Книги – тёртые, сильные, с хлебом и гневом, правдой и жёсткостью – строил Распутин, как строили когда-то терема, и хотя в его книгах мало праздничного, сам факт, что были они – праздник русской литературы.